

ЕЛЕНА ДАВЫДОВА

ТРИ НОЛЬ ТРИ

ПОДРОСТКОВЫЙ ХОРРОР

Елена Давыдова

Три ноль три

<https://litres.ru/74607202>

SelfPub; 2026

Аннотация

В этом сборнике ты погрузишься в мир, где обычное время 3:03 становится зловещим. Тринадцать историй откроют перед тобой двери в мир, где реальность переплетается с кошмаром.

«Три ноль три» — это не просто время на часах. Это пропуск в мир, где граница между сном и явью стирается, а каждый шаг может стать последним. Узнай, что скрывается за этой цифрой. Но будь осторожен. Некоторые тайны лучше не разгадывать.

Подростковый хоррор, который сохраняет напряжение до самого финала и не отпускает даже после того, как перевернешь последнюю страницу.

Название работает как пароль: те, кто читал, сразу поймут его. Кто не читал — почувствует, что за словами «три ноль три» стоит нечто, о чем лучше не знать.

Елена Давыдова

Три ноль три

Желтая лента



Слух о Желтой ленте принес Никита от Дэна. Дэн услышал от старшего брата. А тот — от кого-то, кто давно окончил их школу. Так и рождаются легенды: из обрывков фраз, полунамёков и чужих догадок, пока не поймешь, где правда, а где вымысел.

История была такая.

Далеко в лесу за Сосновкой, за оврагом и ржавыми гаражами, куда не добираются даже самые отчаянные, стоит остов дома. Четыре бетонные стены без крыши, заросшие бурьяном. Говорят, раньше тут была ферма или база — никто не помнит. В центре бетонного пола — квадратная яма, метр на метр. На дне, в трех-четыре метра внизу, плещется ледяная проточная вода, уносящая тепло под землю.

Ритуал прост.

Приходишь ночью, один. Встаешь на край, светишь фонариком в черную воду и бросаешь что-то личное: шнурок, кольцо, браслет. А потом тихо произносишь свое тайное имя — то, из самого детства, которое знаешь только ты и мама.

И ждешь.

Иногда не происходит ничего. Но те, кому повезло, слышали из глубины беззвучный шепот, словно кто-то говорит под водой. И тут же из ямы, извиваясь, как змея, выныривает мокрая желтая лента. Не ярко-желтая, а выцветшая, как старый снимок.

Ты завязываешь ее на левом запястье. Два узла. И ухо-

дишь, не оглядываясь.

С этого момента тебе начинает везти. Фантастически. Удача сама идет в руки. Проблемы обходят стороной, жизнь становится ярче. Ты не меняешься внешне, но внутри чувствуешь, что лента работает.

Однако через месяц-другой она темнеет, превращаясь из горчичной в серую, а затем в угольно-черную. Вместе с ней гаснет и мир внутри тебя. Пропадают ощущения: вкус еды, холод, боль, запахи. Последним уходит сон. Тело просто забывает, как спать. Ты лежишь ночами напролет с открытыми глазами, и в голове — пустота.

И тогда ноги сами несут тебя обратно к яме. Ты стоишь на краю, срываешь с запястья иссохшую черную ленту и бросаешь ее в воду. Все заканчивается. Ощущения возвращаются. Но везение уходит безвозвратно, оставляя после себя глухую тоску по чему-то утраченному.

Это только первый раз. Можно повторить. Но с каждым разом удача длится все меньше, а тьма сгущается быстрее. Говорят, кто-то дошел до четырех раз. До пяти — никто.

Дэн сказал, что все это бред и на той заброшке делать нечего. Однако в его взгляде было что-то от человека, который произносит «неинтересно», хотя на самом деле уже давно все для себя определил.



Никита пошел не потому, что поверил. Он пошел, потому что было совершенно нечего делать.

Ему стукнуло шестнадцать. Он ютился с матерью в однушке на окраине Зеленограда, тянул лямку в ненавистном физмат-лицее и был безнадежно влюблен в Вику Лабутину. Та либо не догадывалась об этом, либо мастерски делала вид, что не замечает. Отец исчез три года назад — не то чтобы ушел, скорее, плавно испарился: сначала пропадал на выходные, потом на неделю, а после и вовсе съехал насовсем. Иногда он звонил. Никита не отвечал. Мать вкалывала на двух работах: днем в лаборатории, вечерами — репетитором. Денег хватало, но впритык. На новое — уже нет. На кроссовки, о которых мечтали все, — не хватало. На куртку, как у всех, — не хватало. На то, чтобы не чувствовать себя хуже других, — отчаянно не хватало.

Но он и не был хуже. Он был... нормальный. Средний. Не отличник и не двоечник, не спортсмен и не ботан, не качок и не лох. Просто середняк. Тень. Человек, чье присутствие отмечают, но чье отсутствие проходит незамеченным.

И это давило сильнее бедности. Бедность — всего лишь цифры на счете. А невидимость... Никита не находил для этого слова. Это как стоять посреди шумной толпы и понимать: исчезни ты сейчас — и никто не обернется. Тебя не

ждут. Ты не нужен — не в том смысле, что тебя ненавидят, а в куда более страшном: всем на тебя наплевать.

А вот Вика Лабутина была нужна. Ее ждали, за ней уживались, ее присутствие ощущалось физически. Она была не столько красивой, сколько яркой. Громкой. Живой. Когда Вика входила в класс, пространство менялось, будто кто-то резко включал свет. И не потому, что она старалась произвести впечатление, — она просто была такой. Люди — они как фонари: одни излучают свет, другие лишь потребляют энергию.

Никита был из тех, кто потребляет.

Желтая лента стала для него шансом. Не на Вику, не на деньги и не на успех. Это был шанс почувствовать, что он есть. Найти что-то настоящее, что-то, что выдернет его из этой серой середины, из тени, из оглушающей пустоты.

Он отправился один, в пятницу, в самом начале октября. В пятницу — потому что мать возвращалась с работы в одиннадцать и не стала бы донимать вопросами. В октябре — потому что летние тропы уже заросли высокой травой, а снег еще не выпал, и все было хорошо видно. Один — потому что Дэн наотрез отказался, а больше Никита никому и не предлагал.

— Ты серьезно туда погрешься? — недоверчиво хмыкнул Дэн, отхлебывая колу из банки. — Это же просто байка для туристов.

— А вдруг нет? — пожал плечами Никита, пиная носком

кроссовка опавший лист.

— Да даже если и нет, — Дэн скомкал банку и метко забросил ее в урну. — Оно тебе надо?

Никита ничего не ответил. Он просто смотрел, как его друг, такой же обычный парень, поворачивается и уходит, даже не оглянувшись. И в этот момент он понял, что пойдет. Обязательно пойдет.



До заброшки сорок минут пешком. Последние пятнадцать идти напрямик, через бурьян и по железнодорожной насыпи, мимо сгнивших, обвалившихся гаражей. А дальше — в лес. Лес здесь был скорее предлесьем: чахлый березняк да кустарник. Но за оврагом начинался настоящий высокий, темный сосняк. Под ногами пружинила плотная подстилка из хвои. Иголки не хрустели, а шуршали. И от этого вкрадчивого звука плечи Никиты невольно поднимались к ушам.

Смеркалось. Девять вечера — еще не ночь, но в лесу уже царил непроглядная темень. Темнота здесь была не просто отсутствием света, а чем-то плотным, осязаемым, что заполняло пространство между деревьями, подобно воде в стакане. Фонарик телефона выхватывал из мрака круг диаметром метра три, может, четыре. За его пределами не было ничего. Будто свет вырезал из мира крохотный островок, а остальное стер.

Никита шел и считал шаги. Просто чтобы делать хоть что-то, чтобы не думать. Двести, двести один, двести два... На триста семнадцатом он увидел стены.

Они оказались хуже, чем он представлял. Не развалины. Скелет. Потрескавшийся бетон, из которого, как ребра из грудной клетки, торчала ржавая арматура. Серые стены высотой около трех метров покрыты мхом и исписаны выцвет-

шими граффити, которые уже невозможно прочесть. Вместо двери — темный зияющий проем, словно раскрытый рот.

Никита застыл и стал вслушиваться. Ни звука. Но это была не естественная лесная тишь, наполненная ветром и шелестом, а мертвая, вакуумная пустота. Будто кто-то отключил звук. Тишина не просто скрывала шум, она поглощала его.

Он шагнул внутрь.

Перед ним был квадрат десять на десять метров. Стены, небо, пол. Под ногами лежала потрескавшаяся бетонная плита, заваленная мусором. Среди гнилой листвы валялись банки, бутылки и окурки. А в самом центре зияла яма. Совсем как в рассказах. Ровно метр на метр, с краями, словно их аккуратно вырезали. Из провала тянуло холодом. Не сквозняком. Оттуда поднималась плотная, тяжелая волна, как от сухого льда. Никита чувствовал ее лицом, грудью и руками. Это был не зимний холод: влажный, вязкий, он приносил с собой запах.

Это был не запах гнили, сырости или влажного бетона. Совсем другой. Откуда-то издалека, из почти стершихся воспоминаний детства, тянуло чем-то знакомым. Сладковатый минеральный запах возвращал его к подземному миру парка аттракционов: искусственной пещере с мокрыми стенами и тусклым желтым освещением... Тогда он плакал, а мама повторяла: «Не бойся, здесь ничего нет». Но он знал, что она лжет. Там что-то пряталось. Оно шевелилось во мраке.

Никита подошел к краю и посветил вниз.

Дно виднелось метрах в трех. Оно было покрыто темной водой, почти черной, но не стоячей. Вода медленно двигалась, утекая в невидимую щель. В ней не было ни отражений, ни мусора. Просто черная, текущая гладь.

Он опустился на колени. Выдернул желтый шнурок из капюшона старой серой толстовки. Желтый. Как та лента из рассказов. От этого случайного совпадения стало не по себе.

Никита бросил шнурок. Тот пролетел метра полтора и вошел в воду без единого всплеска. Беззвучно. Словно его и не было.

И тогда Никита позвал. Не крикнул. Тихо произнес в яму имя.

Не «Никита». Мама звала его Никитик, когда была добрая. Никитос, когда злилась. А когда он болел, лежал в темноте и она сидела рядом, то шептала: «Никеша». И он засыпал.

— Никеша, — сказал он.

И он смолк.

В ответ — ничего. Лишь тишина. Вода продолжала течь. Холод пробирался все выше. Запах не выветривался. «Ерунда, — решил Никита. — Дэн прав. Обычная заброшка. А все эти истории — от безделья».

Он уже хотел подняться, но тут что-то почувствовал.

Он не расслышал — ощутил. Зубами. Нижние резцы задрожали, словно по подбородку пришелся удар; дрожь под-

нялась к челюсти, скулам и вискам. Вместе с ней возникло нечто похожее на звук. Нет, на голос. Не речь — выдох, как и предупреждали. Бульканье, будто у говорившего во рту плескалась вода, но в нем проступал ритм, а за ритмом — смысл. Его имя. То, которым его звала дома только мать. И ему стало не страшно. Нет, страхом это не назвать. Он почувствовал... близость. Словно кто-то в яме знал его всю жизнь и звал к себе. Голос звучал тепло, но от него веяло ледяным холодом.

А потом из воды показалось нечто.

Желтое, узкое — то ли лента, то ли змея, то ли всплывшая водоросль. Оно неторопливо поднялось из черной воды, распласталось по поверхности и закачалось. Блекло-желтое, словно старый осенний лист.

Никита опустил руку. Пальцы коснулись воды. Она была теплой. Теплая вода в октябрьской ночи, в холодной яме. Никиту затошнило. То, что теплое среди холода, — мертвое. Но откуда ему это известно? Почему шестнадцатилетний подросток понимает, как ощущается теплое тело умершего в холодной комнате?

Он поднял мокрую, скользкую и прохладную ленту. Обвязал ею левое запястье, закрепив двумя узлами. Почти сразу почувствовал, как она стянулась. Легко, едва заметно. Словно чужая ладонь сомкнулась вокруг руки. И не разжималась.

Он поднялся и направился к выходу, не оборачиваясь. Мысли остались далеко позади, за запертой дверью, за кото-

рой он не мог оказаться. Да и не желал.



Лента заработала не сразу. День прошел в тишине. Второй — тоже. Но на четвертые сутки Никита, не открывавший учебник, получил четверку по физике. Через неделю Вика Лабутина, до этого не замечавшая его в упор, задержала взгляд:

— Ты что, подстригся? — она склонила голову, разглядывая его с любопытством.

Никита не стригся. Но она его увидела. Впервые по-настоящему. В этот миг лента на запястье потеплела, согревая кожу на полградуса.

Через две недели Никита стал другим. Он шел по коридорам, ощущая взгляды людей, как тепло солнца на щеках. Его звали, с ним заговаривали.

— Ты чего такой бодрый? — Дэн толкнул его в плечо, прищурившись.

— Выспался, — бросил Никита, не глядя на друга. Это была ложь. Спал он отвратительно, но Дэн не заметил подвоха. Дэн видел перед собой уверенного парня, а не того невидимку, которым Никита был раньше.

На литературе Вика пересела к нему. Не из-за нехватки мест. Просто захотела. От нее пахло вишневым гелем и чем-то неуловимо сладким. Никита впитывал каждый оттенок этого аромата, чувствуя, как лента пульсирует теплом. Мир

вокруг казался осязаемым, ярким, настоящим.

— Ты что-то сделал с волосами? — спросила мать за ужином, внимательно вглядываясь в его лицо.

Он ничего не менял. Но она тоже начала его видеть. Все начали.

А через месяц лента начала темнеть.

Сначала желтый цвет сменился горчичным, как у старой газеты, выгоревшей на подоконнике. Никита списал это на грязь. Но вместе с цветом менялось что-то внутри. Еда стала пресной. Не невкусной, а именно пустой. Он различал текстуру и температуру, но вкус словно выкрутили на ноль. Кофе обжигал язык, был горьким. Но перестал быть кофе. Тело перестало узнавать привычные вещи.

Затем пропало обоняние. Сперва исчезли едва уловимые ароматы: деревьев, кожи, вишневого геля Вики и маминого шампуня. Сохранились только едкие химические запахи бензина и растворителя. Мир словно утратил объем и глубину. Все стало похоже на немое кино. Изображение движется, но жизни в нем нет.

Сон уходил постепенно, будто кто-то плавно убавлял громкость. Три часа, два, час, ноль. Никита лежал в темноте с открытыми глазами. Ни усталости, ни мыслей, ни тревоги. Только пустота и серая лента на запястье.

Снаружи все оставалось безупречным. Люди тянулись к нему, Вика садилась рядом, оценки радовали учителей. Но внутри Никита превратился в выпотрошенный дом. Стены

стояли, крыша была на месте, но эхо его собственных шагов звучало чуждо, отражаясь от пустых, безжизненных комнат.



Дэн заметил первым.

Они сидели в столовой. Дэн уплетал обед, а Никита лишь лениво гонял вилок по тарелке, размазывая остатки пюре.

— На диете? — бросил Дэн, не поднимая глаз.

— Нет.

— Ты не ешь.

— Ем.

— Ты просто елозишь. Едят — это когда кладут в рот и жуют.

Никита послушно подцепил ложкой, отправил в рот, механически пожевал и проглотил. Текстура была, а вкуса — ноль. словно жевал мокрый картон.

— Вижу, что кладешь, — Дэн отложил приборы и подался вперед. — Но ты как робот. Будто тебе это не нужно.

Никита промолчал. Он смотрел на Дэна, но взгляд скользил мимо. Друг казался плоским изображением на экране, за толстым слоем бронированного стекла. Дэн был здесь, но в то же время — бесконечно далеко, в другом, недостижимом мире.

— Слушай, — голос Дэна стал тише, почти вкрадчивым. — Не ври мне. Ты какой-то... серый. Лицо — как пепел. Под глазами тени, будто тебя били. Ты вообще спишь?

— Сплю.

— Сколько?

— Нормально.

— «Нормально» — это сколько?

Никита сжал пальцами край стола. «Нормально» означало ноль. Как объяснить это, если он и сам не понимал? Шесть ночей он просто лежал, уставившись в потолок. Семьсот сорок три трещины, ветвящиеся молниями над головой. Он выучил каждую, сделал их частью себя, и от этого становилось только тошнее. Ночь тянулась бесконечно, лишенная сна, лишенная усталости, лишенная конца. Он не мог уснуть, не мог устать, не мог остановиться.

Дэн хлопнул ладонью по столу, возвращая его в реальность:

— Погнали со мной. Есть тема. Серьезно. Погнали.



Темой разговора был Леха Морозов — одиннадцатиклассник. Широкий, бритый, с серьгой в ухе и самодельным «рукавом» на запястье. Татуировка, набитая иглой и тушью, выглядела именно так, как и должна: криво, густо, навсегда. Никита всегда сторонился таких, как Леха. Тот не был злым или опасным. Он был пугающе цельным. Леха знал, чего хочет, брал свое и не оглядывался на тех, кто стоял на пути.

Они встретились за школой, у мусорных баков. Леха курил, Дэн лениво жевал жвачку, Никита молчал.

— Покажи, — бросил Леха.

— Что?

— Руку.

Никита закатал рукав. Лента на запястье отливала темно-серым, почти черным. Леха присмотрелся, и его лицо застыло, превратившись в маску. Он вдавил окурок в кирпичную кладку, растерев его в пыль.

— Сколько раз ходил? — спросил он, не поднимая глаз.

— Один.

— Один? И такой вид? — Леха перевел взгляд на Никиту, и тот вдруг понял: Леха не просто смотрит, он узнает. Узнает в нем себя, причем глубже, чем если бы видел в зеркале.

— У тебя тоже? — тихо спросил Никита.

Леха молча закатал рукав. На его левом запястье чернела сухая, похожая на сброшенную змеиную кожу, лента. Три витка, три узла, трижды обмотанная вокруг руки.

— Три, — выдохнул Леха. — Первый раз — в марте. Второй — в июне. Третий — в сентябре. Сценарий один. Сначала кайф, потом тьма. Возвращаешься, отдаешь долг, и вроде бы снова нормально. Но «нормально» с каждым разом все короче. Понимаешь?

Никита кивнул.

— Первый раз — месяц покоя. Второй — две недели. Третий — три дня. А потом наступает не «нормально», а просто «не тьма». Серость. Как экран с выкрученной яркостью. Картинка есть, а жизни нет.

— И что делать? — Никита сжал кулаки.

Леха долго молчал, глядя в пустоту.

— Не знаю. Мой брат ходил четыре раза. На четвертый — не вернулся.

— В смысле?

— Ушел ночью. Думаешь, в яму? Нет. Просто исчез. Нашли через неделю в Подольске, у родни. Сидит, смотрит в стену, не ест, не говорит. Живой, а внутри пустота. Кукла. Глаза открыты, а за ними ничего. Мать его забрала, лечит. Бесполезно.

— И ты все равно продолжаешь? — Никита вздрогнул.

Леха посмотрел на него с тоской, в которой не было ни капли вызова.

— А что мне остается? Я без ленты — никто. Ты еще не знаешь. Ты первый раз сходил, ты еще настоящий. А я — третий. Без ленты я ноль. Меня просто нет, — он ударил себя ладонью в грудь. — Я и есть эта лента. Без нее я рассыплюсь.

Никита посмотрел на свою руку. Темно-серая полоса казалась единственной опорой. Он вдруг ощутил, что больше не чувствовал своего тела, только ленту. Она держала его, как рука матери держит ребенка над пропастью. Стоит отпустить, и он сорвется в бездну.

— Надо вернуть, — отрезал Леха, поправляя рукав. — Сегодня. Пойдем вместе.



Они пошли втроем: Леха, Дэн и Никита. Дэн упирался, но Леха отрезал: «Если Никитосу станет плохо в лесу, ты его понесешь». Дэн понял, что это не шутка, и пошел.

Одиннадцать вечера. Октябрь дышал холодом, небо затянуло плотной пеленой, луны не было. Когда они свернули с дороги, фонари остались позади. Дальше — лишь три дрожащих луча, выхватывающих из темноты бурьян, насыпь и остовы гаражей. Руки у всех троих ходили ходуном.

Леха шел первым. Двигался уверенно, будто знал дорогу наизусть. Никита поймал себя на мысли: а ведь он наверняка здесь каждый день. Лента зовет, и он идет. Стоит на краю, не в силах бросить. Ведь расстаться с ней значит отдать часть себя. Он цепляется за нее, а она — за него. И с каждым днем темнеет все сильнее.

В заброшке стоял тот же спертый запах. Но теперь Никита улавливал его отчетливее, как последний звук угасающей мелодии. От этого стало больнее, чем от пустоты.

Леха подошел к яме и направил луч вниз. Черная вода лениво ворочалась в глубине. Он опустил на колени и принялся разматывать ленты. Три черные полосы, мумифицированные, присохшие к запястьям, отходили с трудом, словно кожа с ожога. Никита всмотрелся. Под лентами кожа была мертвенно-белой, покрытой следами зубов: маленькие, ров-

ные оттиски, два ряда красных точек. Леха отвел взгляд, стиснув зубы. Он знал, что там.

Он разжал пальцы. Ленты одна за другой скользнули в воду. Без всплеска, без звука. Словно растворились в черноте. Леха замер.

Секунда, две, три.

Из ямы донесся стон. Низкий, протяжный, вибрирующий в бетоне и в самих костях. Никита зажал уши, но звук проникал сквозь подошвы, через пол, прямо в тело. Его невозможно было заглушить.

Леха поднялся. Его колотило, но он стоял прямо. Повернувшись к выходу, он казался другим, словно с него содрали тяжелую броню, оставив обнаженным и уязвимым.

— Теперь ты, — бросил он, не оборачиваясь.

Никита подошел к краю. Вода внизу двигалась быстрее. В ее течении чудилась хищная, звериная радость — как у пса, которому бросили мяч и который не подозревает, что он лишь игрушка в чужих руках.

Никита посмотрел на свою ленту. Раньше он не закатывал рукав, а теперь увидел следы зубов. Внутри что-то перевернулось. Это не было страхом или отвращением — это было прозрение. Лента не давала ему сил, она их высасывала. У Вики, у Дэна, у учителей она краля внимание, тепло, интерес, чтобы кормить эту тварь. Он был вампиром, питающимся чужими чувствами.

От этого осознания лента стала противной. Мертвая ткань

вцепилась в руку, и Никита рванул ее. Кожа под ней горела, красные точки саднили. Но эта боль была первой за неделю. Боль — это жизнь.

Он швырнул ленту в яму. Тишина.

Секунда, две, три.

— Никеша... — голос из воды был теплым, материнским, обволакивающим.

Ноги Никиты стали ватными. Он пошатнулся, но Дэн вовремя вцепился в его куртку, удерживая на краю. Голос звал его не в воду, а домой. Яма казалась единственным местом, где его ждали.

— Не смотри, — выдохнул Леха.

Никита сделал, как ему велели: резко отпрянул. Дэн схватил его и потащил подальше. Позади из ямы донесся взрыв звуков — скрежет, стон и безгласный вопль. Бетон содрогнулся, стены покрылись трещинами. Они мчались вперед, не бросая взгляда назад, пока не скрылись в темном лесу. Никита понимал: стоит обернуться — и он увидит. А увидев, уже не сможет уйти.



Они бежали по дороге, пока силы не иссякли. Рухнули на обочину, в жесткую, примятую траву, и замерли, жадно хватая ртом холодный, живой воздух. Он пах сырой землей, бензином и прелью. Никита чувствовал все: колкий холод, ноющую боль в боку, шершавость асфальта под лопатками и солоноватый привкус крови. Прикусил язык на бегу. И это было прекрасно. Не просто хорошо. Именно прекрасно. Потому что было ощутимо. Потому что они существовали.

Леха, не поворачивая головы, уставился в темнеющее небо.

— Вот, — выдохнул он, с трудом разжимая пересохшие губы. — Чувствуешь?

Никита коротко кивнул, вжимаясь затылком в землю:

— Чувствую.

— А это — бесплатно, — Леха хрипло рассмеялся. В его смехе смешалось все: изнеможение, страх, облегчение и глухая тоска. Он знал: завтра станет хуже. Послезавтра — еще невыносимее. Без ленты он превращался в пустоту, в черную дыру, которая неумолимо затягивала в себя все живое.

Но сегодня он чувствовал. И Никита чувствовал.

Дэн лежал чуть поодаль. Он не мог бежать, но видел все. Молчал, вглядываясь в лица друзей. И в его глазах застыло то, чего не было у них. Страх. Не за себя, а за них. В этом

взгляде читалась простая, мальчишеская любовь, не требующая слов или объятий. Просто лежать рядом, зная, что они дышат. Что это важно. Что завтра будет тяжело, но сегодня... Сегодня они живы.



Никита вернулся домой в три ноль три ночи. Мать спала. Он сбросил одежду. Рухнул в кровать и провалился в сон — тяжелый, беспамятный, как у младенца. Никаких сновидений. Только вязкая тьма и тепло, от которого тело, измученное недельной бессонницей, ныло, словно от глотка ледяной воды в пустыне. Эта боль была почти осязаемой, почти прекрасной. Организм заново учился жить.

Проснулся он только к обеду. Умылся ледяной водой из-под крана. Холод обжег кожу. И это было блаженством. Никита чувствовал все. Колкую текстуру полотенца, резкий запах мыла, щекотку волос на затылке. Мир вернулся. Плоский, серый, лишенный той самой ленты, но живой.

Вика не села рядом. Не из обиды. Она просто его не заметила. Никита снова стал тенью. Обычным парнем, которого видят, пока он стоит перед глазами, и забывают, стоит ему отойти.

И это было нормально. Не хорошо, нет. Просто выносимо. Теперь он знал, что скрывается за этой невидимостью. Между «быть замеченным» и «быть никем» пролегла пропасть. Лента была мостом. Но мостом-ловушкой. На том конце что-то ждало. Голодное, терпеливое, обладающее вечностью. А у него в запасе были лишь шестнадцать лет жизни и шнурок от толстовки в руках.



Прошла неделя. Вторая. Никита существовал. Ел, спал, чувствовал. Жил без везения, без Вики, без света. Но жил. Тускло, серо, по инерции.

Леха — нет.

На третий день он не пришел в школу. Через неделю его мать позвонила классной руководительнице, сославшись на болезнь. Еще через семь дней стало известно: больница. Ни Дэн, ни Никита не проронили ни слова. Что сказать? Что они лазили в заброшку, бросали шнурки в яму, привязывали ленты и кормили нечто, обитавшее под землей? Кто бы в это поверил?

Никита навестил его лишь однажды. Психиатрическая клиника на Токарева встретила его серым фасадом, такими же коридорами и стерильной палатой. Леха сидел в кресле, облаченный в казенную пижаму, и неотрывно смотрел в стену. Глаза открыты, но за ними... Пустота. Ни тьмы, ни света. Оконный проем, из которого выставили стекло.

На запястье ленты не было. Но остались следы. Два ряда крошечных красных точек. Кожа вокруг них казалась мертвенно-белой. А под ней, если присмотреться, проступало нечто серое, медленно пульсирующее, как тень на самом дне колодца.

Никита опустился на стул рядом, сцепив пальцы в замок.

— Леха, — позвал он, глядя в застывшее лицо друга.

Леха не шелохнулся.

— Леха, это я, Никита. Я вернулся. Я отдал долг. Я живой. Слышишь?

Леха повернул голову. Медленно, с механической тяжестью, будто у него на исходе был заряд батареи. Никита вздрогнул. В той пустоте, что заменяла другу взгляд, что-то шевельнулось. Что-то узнало его. По спине Никиты пробежал холод. Он резко вскочил, отступая к двери.

Леха криво усмехнулся. Лишь одной стороной рта, с выражением человека, хранящего страшную тайну. Эта улыбка пугала сильнее любого крика.

— Оно помнит тебя, — прошептал Леха. Голос звучал глухо, будто доносился из-под толщи воды. — Оно помнит. Ты вкусный. Ты вернешься.

Никита выскочил в коридор и, не добежав до туалета, согнулся над раковиной. Его вырвало. Обычная, теплая, кислая рвота. Эта физиологическая банальность принесла странное облегчение. Организм работал как положено. Мир оставался материальным. А он сам — живым. Леха был потерян. И это казалось чудовищно несправедливым. Но справедливость — удел детей, а Никита перестал им быть. Не после ямы. Не после зубов. Не после того, как голос из темноты позвал его «Никеша», совсем как мать.



Пролетел месяц, другой. Ноябрь сменился декабрем, укрыв землю снегом, сковав все морозами. Никита жил по инерции. Школа, еда, сон, редкие переброски словами с Дэном. Он по-прежнему наблюдал за Викой. Издали, без ленты, без надежды, без острой боли. Просто смотрел. Она казалась воплощением света. Он же — лишь бледной тенью, приросшей к стене. И это казалось правильным.

Но ночи... ночи приносили иное.

Не каждую. Раз в неделю, иногда в две. Он засыпал спокойно, проваливаясь в тяжелый сон. Но ровно в три часа три минуты просыпался. Не от шума, от запаха. Сладковатого, минерального, теплого. Того самого, из ямы. Едва уловимого, как отголосок забытого сна, но безошибочно узнаваемого. А в запахе — голос. Не слова, а бульканье, выдох, в котором тонуло его имя.

— Никеша...

Тихо, обманчиво нежно, почти по-матерински. От этого звука к горлу подступали слезы. Мать не звала его так целую вечность. Она вечно пропадала на сменах, вымотанная, вечно спешащая. А яма звала. В этом крылась подлая, голодная жестокость.

Никита не вставал. Он вжимался в матрас, до боли сжимая зубы, вцепляясь пальцами в край одеяла. Пытался удерж-

жаться за реальность. За свои шестнадцать лет, за тепло постели, за то, что он жив. А яма осталась где-то там, в лесу. Лента отдана. Он свободен.

Но запах не выветривался. Голос не стихал.

В этот момент, когда мир вымирал, погружаясь в абсолютную, звенящую тишину, Никиту накрывало отчаяние. Он лежал, глядя в потолок. Мысли предательски сворачивали не туда: «А может, вернуться? Всего на раз? Может, лента — не такая уж высокая цена за то, чтобы перестать быть невидимкой? Может, лучше сиять, пусть даже будучи мертвым, чем существовать вот так — прозрачным?»

И в этом заключался настоящий ужас. Не в яме, не в ленте, не в зубах существ. Ужас был в нем самом. В том, что он допускал эти мысли. В том, что его часть, та, что родилась в яме на звук «Никеша», — все еще жила. Была голодна и пряталась не в заброшенном подземелье, а внутри него. В самой глубине, где всегда темнее, чем в любом другом месте.

В углу комнаты, в ночи, сгущалась чернота. И Никита знал: это была не просто темнота.



Никита просыпался. Каждый раз через силу. Вставал. Щелкал выключателем. Садился за стол и открывал ноутбук. Имитировал деятельность, лишь бы занять руки. Свет разгонял морок. Запах гари отступал. Навязчивый шепот стихал. Но свет — лишь временная передышка до рассвета. А утром все повторялось. Школа, Дэн, Вика, роль серой тени и ожидание ночи. Ожидание трех часов, когда в углу комнаты, где тени сгущаются до черноты, снова проступит нечто.

С каждым разом решение вернуться в реальность давалось тяжелее. Голос из темноты звучал все роднее, а приторно-сладкий запах, как перезрелые фрукты, манил сильнее.

Никита понимал: однажды он не проснется. Не потому, что не сможет. А потому, что не захочет. Та сторона казалась вкуснее жизни. Яма звала его, как мать зовет ребенка. И он, чувствуя себя сиротой при живой матери, изголодавшийся по теплу, тянулся к ней. Там не нужно было быть никем. Там его ждали.

В этом и заключался истинный ужас. Не в клыках или когтях монстра, а в осознании. Тьма уютнее серой повседневности. Голод по чему-то настоящему сильнее страха перед пустотой. Он знал, что рано или поздно сделает выбор.

Шестнадцать лет — долгий срок для одиночества. А у того, что притаилось в яме, в запасе была вечность. И беско-

нечное терпение. И голос. До боли похожий на мамин.

А у Никиты — будильник на семь, лицей, Дэн, Вика, вечно занятая мать и тот самый угол, который темнее, чем везде.

Снова ночь. Снова три ноль три.

Снова этот запах.

Фильтр



Фильтр получил название «Сосед».

В интернете он появился в конце сентября: сначала в TikTok, затем в Telegram, а спустя несколько дней — уже повсеместно. Суть до примитивности проста. Наводишь камеру на ночную комнату, гасишь свет, и фильтр подсвечивает того, кто делит с тобой пространство. Не тебя. Не кота. Не случайного таракана. Кто-то третий.

Разработчик оставался в тени. Ссылка вела на пустой сайт с единственной строкой: «Вы не одни. Вы никогда не были одни. Посмотрите». Никаких условий, регистраций или оплат. Просто кнопка «Установить». Люди нажимали. Дай человеку кнопку, он нажмет. Дай фильтр, он обязательно проверит. Тем более — ночь, темнота, щекочущее любопытство, арахнофобия в кармане. Одно движение пальцем, и ты знаешь правду. Страшно? Да. Но не по-настоящему. Это же просто телефон. Игрушка.

Большинство видели пустоту. Черный экран, контуры мебели. Иногда мелькали зеленоватые пятна, которые алгоритм помечал как «тепловые следы»: стул, кровать, остывающая подушка. Люди смеялись. Посты с хештегом #сосед собирали миллионы просмотров: «Мой сосед — это собака под кроватью, лол», «У меня сосед — зарядка, она светится», «Я настолько одинок, что даже фильтр никого не нашел».

Но встречались и другие видео. Без хештегов. Без подписей. Короткие. На три-четыре секунды. Темная комната,

угол, силуэт. Не одежда на стуле, не тень от шторы. Нечто высокое, тонкое, вжавшееся в стык стен. Оно не двигалось. За кадром слышался сдавленный, дрожащий шепот: «Видите? Оно там. Оно стоит».

Такие ролики не набирали просмотров. Их не репостили. Они вспыхивали в ленте и тут же исчезали, как по алгоритму. Или кто-то их старательно вычищал.

Марк наткнулся на такой ролик в три часа ночи. Листал ленту, и вдруг эти четыре секунды. Темнота. Угол. Силуэт. Шепот. Марк моргнул, обновил страницу. Пусто. Видео словно испарилось.

Но образ впечатался в сетчатку. Высокий. Тонкий. Без рук. Или они были плотно прижаты к телу, сливаясь с ним. Голова покатаая, без шеи, как у зародыша. Рост — метра два, не меньше. От пола до потолка. Стебель, застывший в углу.

Марк отбросил телефон на подушку.

— Фейк, — пробормотал он, вглядываясь в темноту собственной спальни. — Обычный монтаж.

Он натянул одеяло до подбородка, чувствуя, как по спине ползет неприятный холодок. В три ночи тени всегда принимают причудливые формы. Стул превращается в монстра, пальто — в затаившегося гостя. Подростки развлекаются, не более.

Утром он почти забыл об этом. Почти.



Марку пятнадцать. Он жил с матерью в «двушке» на Маркса, тянул программу в шестом лицее и был абсолютно обычным. Не ботан, не гопник, не качок. Простой парень. Телефон, наушники, столовка, физра, домашка и рилсы в кровати до часу ночи. Стандартный набор.

Его компания — Лера и Олег. Лера из четвертого дома: рыжая, громкая, с татушкой на запястье, о которой мать до сих пор не догадывалась. Олег из пятого. Тихий, крупный, в очках, которые менял раз в год. Зрение падало. Он молчал, шурился на доску и безбожно списывал, но все делали вид, что так и надо.

Они зависали в столовой. Лера вгрызалась в пирожок, Олег залипал в экран, а Марк вполголоса рассказывал про тот самый ролик. Про силуэт. Про угол.

— Это «Сосед», — Лера отмахнулась, не отрываясь от еды. — Видела я. Крипово, да, но стопудово фейк. Обычный AR-эффект, который цепляет темные углы и дорисовывает фигуру. Чисто рофл для хайпа.

— А шепот? — Марк подался вперед.

— Какой шепот?

— За кадром. «Вы видите это? Оно там стоит».

— Не слышала. Может, у тебя другая версия видео.

— Может.

Олег наконец оторвался от телефона. Его пальцы нервно сжали край стола.

— Я пробовал, — глухо сказал он.

Лера и Марк синхронно уставились на него.

— Вчера ночью. Скачал, навел камеру. Ничего. Просто комната. Темный контур кровати, шкафа. Пустота.

— И ты один был? — Марк понизил голос.

— Один. В три ночи, как в посте. «В темноте, один».

— И вообще ничего?

— Ноль. Может, телефон старый, сенсор не вытягивает фильтр, — Олег пожал плечами, но взгляд его оставался тяжелым.

— Или у тебя просто нет соседа, — Лера хохотнула, скомкав салфетку. — Комната чистая. Повезло тебе.

Олег не улыбнулся. Он посмотрел на Леру, потом на Марка. И в глубине его глаз, за толстыми стеклами, в которых отражались лампы столовой, мелькнуло что-то такое, от чего у Марка по спине пробежал ледяной ток. Снизу вверх, до самого затылка.

Олег не просто не видел соседа. Олег боялся.

— Ладно, — Лера резко встала, бросив салфетку на поднос. — Я попробую сегодня. Запишу все на видео. Если что-то поймаю, вы увидите первыми.



Лера прислала видео в 3:03.

Марк не спал. Залипал в ленту — тупо, на автомате. Уведомление звякнуло, он открыл.

Лерина комната. Он бывал там. Обои с бабочками, которые она ненавидела, шкаф, кровать у окна, стол с монитором. Обычная девчачья берлога в городской панельке.

Фильтр — тепловизор, ядовито-зеленые контуры мебели. Кровать фонит теплом. Значит, Лера только встала. Стул оказался тоже теплым. Все как у всех, все нормально.

И угол.

Между шкафом и стеной, где обои отходят от бетона, образовалась щель в десять сантиметров. В этой пустоте прослеживался силуэт.

Не зеленый, не тепловой. Абсолютно черный, как дыра в реальности, как выжженные пиксели. Высокий, от пола до потолка. Тонкий, втиснутый в щель. Он не двигался. Просто был.

Марк всматривался в экран. Пять секунд. Десять. Силуэт не шевелился, но менялся. В первую секунду был зажат в щели. Через пять уже вываливался наружу, расплзался пятном, которому тесно в узком пространстве. Через десять угол перестал быть углом, превратившись в полстены. Тень

росла.

Лера включила звук. В записи слышалась ночная тишина, а под ней прозвучал щелчок. Мелкий, сухой, как стрекот кузнечика. Часто-часто. Будто дышит не легкими, а чем-то чужеродным. Марка дернуло. В правом ухе зачесалось, глубоко, до боли, словно звук ввинтился в перепонку и застрял там.

Видео длилось тринадцать секунд. Последние три — чернота. Будто что-то накрыло камеру. А потом Лерин голос. Тихий, влажный, будто из-под воды:

— Вы видите?

Конец.

Марк быстро застучал по экрану:

— Лера, ты как?

Тишина.

— Лера?

Ни ответа, ни привета. Он набрал ее. Длинные, пустые гудки. В них, сквозь статику, пробивался тот самый щелчок. Марк швырнул телефон на пол.

Он лежал, уставившись в потолок. Трещина, похожая на молнию, гипнотизировала, не давая отвести взгляд.

А потом он почувствовал это.

В углу его комнаты, там, где сходились стены, стало темнее. Тьма не просто легла. Она втягивала свет, как воронка — воду. Лампа на тумбочке не пробивала эту густоту. Это не походило на чье-то присутствие. Скорее на гнетущую силу,

давившую не на тело, а изнутри, на уровне инстинктов.

Что-то стояло в углу. Не двигалось. Ждало.

Марк не спал.



Лера не пришла в школу. И на следующий день тоже. Мать позвонила классному руководителю: «Она не поднимается с постели, не принимает пищу и не разговаривает. Только лежит, не закрывая глаз. Врачи осмотрели ее, но ответа не нашли: анализы в порядке, на МРТ отклонений нет. Словно она отключилась».

Марк рванул к ней сразу после уроков. Автобус 302, панелька, лифт. Дверь открыла Лерина мать — маленькая, седая, в засаленном халате. От нее несло валерьянкой и дешевым табаком, руки ходили ходуном.

— Она в комнате, — прошептала мать, вцепившись в косяк. — Она совсем неподвижна, словно застыла. Поднесешь стакан — пьет. Уберешь — даже не попросит. Как... — она оборвала фразу, не решившись произнести слово «кукла».

Марк вошел. Лера лежала на спине, руки вытянуты вдоль тела, взгляд уперт в потолок. Но нет — не в потолок. В угол между шкафом и стеной. В узкую щель. Ее губы едва заметно шевелились. Марк подошел ближе, вслушиваясь в этот шепот:

— Вижу... Вижу... Вижу...

Одно слово, как заевшая пластинка. И вдруг — щелчок. Марк уловил его не слухом — вибрация прошла через все тело. Воздух в помещении мелко и неприятно задрожал, слов-

но поблизости включили высоковольтный трансформатор. Зубы заныли, а сердце забилося в тревожном ритме.

Он перевел взгляд в угол. В ту самую щель.

И увидел.

Это не был силуэт из крипипаст или видосов в сети. Это было нечто иное. В щели между шкафом и стеной сгустилась тьма. Не отсутствие света, а плотная, осязаемая субстанция. Она стояла там, тяжелая, как свинец. У нее не было глаз. Но Марк кожей ощутил взгляд. Пристальное, липкое внимание, направленное прямо на него.

Марк попятился. Тьма качнулась. Как пятно от фонаря, ползущее по стене, она подалась вперед. Сантиметр. Два. И замерла.

В углу раздалось нечто. Не сухой щелчок, а голос. Хриплый, с булькающим оттенком, он складывался в осмысленный ритм: «Я тебя вижу. Вижу».

Холод прошил Марка от затылка до пяток. Его парализовало. Он стоял, не в силах пошевелить пальцем, понимая: вот так же застыли Лера и все остальные, кто «увидел» это дерьмо.

А потом отпустило. Будто кто-то выдернул штекер из розетки. Марк споткнулся о ковер. Рухнул. Вскочил и рванул прочь. Из комнаты, из квартиры, из подъезда. На улицу. Воздух, свет, люди, шум машин — все казалось нереально живым. Его колотило, зубы выбивали дробь, а в ухе продолжал звучать тот самый щелчок. Тихий. Настойчивый.

Он не уходил. Он остался внутри.



Олег молчал. Марк заваливал его сообщениями, названивал, даже приходил. Все впустую. Дверь заперта, мать на контакт не идет.

— Он дома, — прошептала соседка, выглянув из-за двери и нервно теребя халат. — Третий день не выходит. Мать твердит: «Болеет». Но я-то слышу: ни кашля, ни шороха. Тишина гробовая. Будто и нет никого в квартире.

Марк прижался ухом к холодному металлу. За дверью стояла не обычная тишина — ни звука, ни шороха. Она наваливалась всей тяжестью, как в том самом «Соседе», как в глухом лесу, где воздух словно напитывается чьим-то присутствием. И вдруг раздался щелчок. Именно тот. За ним слышалось дыхание — частое, сбивчивое, неглубокое. Олег так не дышал. Его дыхание было тяжелым, медвежьим. Это звучало... неестественно. Сквозь бетон и сталь пробился запах сырой земли. Сладковатый, удушливый.

Марка прошиб холодный пот. Он развернулся и рванул вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени. В каждом повороте, в каждом темном углу лестничного пролета ему чудилось движение. Взгляд, липкий, нечеловеческий, впился в затылок. Оно шло следом, этаж за этажом.

Марк бросился наружу, отчаянно хватая ртом воздух. Двор, ребята на качелях, гул автомобилей — все вокруг каза-

лось неправдоподобно живым. Он замер, пытаясь унять бешено колотившееся сердце, но в ухе вновь прозвучал знакомый щелчок. Он не стихал.



Марк не спал. Не мог. Дело не в страхе. Дело в нем. Оно было здесь. В углу, где стык стен, тумбочка и кривая тень от лампы. Оно стояло. Марк не смотрел. Не включал «Соседа». Не наводил камеру. Зажмурился до искр. Но чувствовал. Кожей, затылком, ребрами. Каждой клеткой, которая была открыта этому присутствию. Это не человек. Что-то чужое, отжимающее у него пространство. Раньше это была его комната. Теперь — общая. И оно росло. С каждым часом становилось больше. Будто в углу прорвало дыру, из которой сочилась густая, вязкая тьма. Она поднималась, как вода в затопляемом подвале. А Марк лежал на кровати, как на последнем островке, до которого вот-вот дотянется эта дрянь.

А запах... Земля. Приторная сладость. Теплый, могильный дух, идущий из-под бетона, из самой глубины, где нет ничего, кроме праха. От этого запаха веки наливались свинцом. Хотелось лишь погрузиться в забытие. Как Лера. Как обещает та реклама покоя, которой веришь. Когда уже не осталось сил, недосып звенит в ушах, а грудь сдавливает тяжесть. Запах словно нашептывал: «Спи». Не голосом. Самим своим присутствием. От него нельзя было укрыться. Он проникал сквозь поры и отравлял кровь.

Марк вскакивал, с грохотом сбрасывая одеяло. Включал все: люстру, торшер, монитор, телек. Врубал музю на пол-

ную, чтобы перебить этот гул в голове. Сидел, вцепившись в край стола, и таращился в угол. Обычный угол. Тумбочка, стопка книг, слой пыли. Пусто. Но Марк знал. Свет не лечит. Свет просто прячет. Оно там. Затаилось, как таракан, который ждет, пока ты щелкнешь выключателем.

Три ноль три.

Каждую ночь. Как по расписанию. Марк косился на электронные часы: 03:03. В этот момент в ухе раздавался сухой щелчок. Сдавленность в груди достигла предела. Казалось, невидимая тяжесть прижала Марка к постели. Нечто маленькое, крепкое и непомерно тяжелое часто, с перебоями дышало. Горячее дыхание обдавало жаром, а тот затуманивал сознание. Марк задыхался, заходиллся кашлем и хрипел. Затем резко поднимался, беспокойно кружил по комнате и торопливо пил ледяную воду прямо из бутылки.

— Да пошел ты, — выдохнул он в пустоту, сжимая кулаки до побелевших костяшек.

И отпускало. Щелчок и тишина. Но с каждым разом отпускало все медленнее. Сопротивляться становилось влом, сил почти не осталось. А тепло... тепло становилось все уютнее.



В ночь на пятый день Марк наконец увидел его. Прямо перед собой, не сквозь фильтр и не на дисплее телефона. В 3:03 он открыл глаза и оцепенел. В месте, где сходились стены, стояло это существо.

Это не был силуэт. Силуэты живут в пикселях, а здесь зияло ничто. Казалось, из самой реальности вырезали фрагмент, открыв проход в пустоту. Не в соседнее помещение и не наружу. Туда, что скрыто под миром, по другую сторону его изнанки. И эта «изнанка» проникла в узкий промежуток шириной всего десять сантиметров между стеной и тумбочкой.

Глаза существа напоминали две черные прорехи. В их глубине что-то шевелилось, медленно, как тени на воде. Существо не сводило глаз с Марка, а он не мог отвернуться. Он ощущал себя кроликом перед удавом. Однако паники не было, его охватило странное, тягучее спокойствие. Оно обволакивало и убаюкивало, как теплая вода в ванне. В воздухе стоял запах влажной земли и приторной сладости.

Марк сомкнул веки против своей воли. Тело перестало ему повиноваться. Так же случилось с Лерой, Олегом и всеми, кто «увидел» и сдался. Организм выбрал сон, тепло и этот липкий покой. Марк же остался заперт внутри собственного сознания. Он кричал, но не мог издать ни звука, не мог

пошевелить даже пальцем. Оно было совсем рядом, дышало, издавая сухие щелчки, и от этого дыхания по коже разливался жар.

Вдруг... Резкий, как выстрел, звук.

Телефон взорвался дурацким попсовым рингтоном, который Марк поставил на маму. Звук ударил по мозгам, пробилая оцепенение. Марк дернулся, вскочил, схватил вибрирующий аппарат. На экране горело: «Мама».

— Ты чего трубку не берешь? — голос матери, обычный, живой и раздраженный, ворвался в комнату. — Я третий раз звоню! Вставай, в школу опоздаешь!

Марк стоял, сжимая телефон, и по его щекам текли слезы. Он всхлипывал, слушая, как мать ворчит в трубку, а за окном уже брезжил рассвет. В углу было пусто. Только тумбочка, стопка книг и пыль.

Ничего.

Но в воздухе еще висел едва уловимый запах земли. А в ухе, где-то глубоко, раздался тихий, терпеливый щелчок.



Марк решил: хватит. Больше никаких прятков, никакой сдачи. Только действие.

Перед глазами всплыли лица. Лера... Она не сопротивлялась, просто смотрела, шептала «вижу, вижу, вижу» и... отдалась. Олег тоже молчал, лежал, не двигаясь. А Марк? Марк не хотел быть следующим. В кармане завибрировал телефон. Громкий рингтон прорезал тишину, как крик. Свет экрана ударил в глаза, напоминая, что жизнь еще теплится.

Он ответил Димону. Тот был из параллельного класса. Не то чтобы друг, скорее знакомый. Но один из тех, кто не боялся смотреть в глаза реальности. Договорились о встрече.

Димон открыл дверь, почесывая нос. В квартире пахло чипсами и потом. Обычный, живой запах, от которого Марку стало легче.

— Надо сносить, — Димон кивнул на телефон Марка. — Не через «Соседа», а по-нормальному, через настройки. Без фильтров. И показать кому-то вменяемому. Взрослым, короче.

— Взрослые не поймут, — отрезал Марк, нервно переминаясь с ноги на ногу. — Скажут: баг, монтаж, приколы под-ростков.

— Тогда просто удаляй. Фильтр — в топку, «Соседа» — в корзину. У всех. Чтобы следов не осталось.

— Как я удалю? Оно везде: в ТикТоке, в Телеге, у всех в ленте!

— Не везде, — Димон подошел к окну и дернул штору. — У тебя, у меня, у Леры. Удали у себя и забей. Не открывай, не наводи камеру. Оно само сдуется.

— Откуда такая уверенность?

— Да хрен знает, — Димон пожал плечами, усаживаясь на кровать. — Мы пробовали смотреть. Становилось только хуже. А я не смотрел. У меня труба старая, не потянула. Я поэтому и не скачивал. И у меня чисто. Видишь?

Марк огляделся. Комната как комната. На стенах висят постеры, на столе творческий беспорядок и пыльный монитор. И углы. Обычные углы, в которых не было ни тьмы, ни давления. Впервые за неделю Марк выдохнул.

— Видишь? — Димон ткнул пальцем в угол. — Оно приходит, только когда ты пялишься в экран. Не смотришь — не приходит.

— Я смотрел. Один раз. И оно пришло.

— Удалил?

— Да.

— Больше не лезь. Телефон на ночь убери в коридор, к входной двери. Наушники в мусорку. Беруши в уши. Спи в тишине. Без камеры. Без этого «глаза».

— Какого глаза?

Димон усмехнулся, вертя в руках свой старый смартфон.

— Телефон — это глаз. Ты наводишь камеру, фокусиру-

ешься, а оно видит, что ты смотришь. И лезет через экран, как через открытое окно. Закроешь окно — оно не просочится. Фильтр — это вообще распахнутая настежь форточка.

Марка прошибло током. Телефон — окно. Он сам открыл его. И оно увидело его.

— А если щелчки в ушах? Запах этот странный? — Марк сжал кулаки.

— Это эхо, — Димон откинулся на спинку стула. — Остаточный эффект. Как дым после пожара. Проветривай комнату, впускай шум улицы, свет, жизнь. Оно выветрится. Не сразу, но свалит.

Марк посмотрел на свой телефон. Впервые за неделю он не чувствовал, что за ним наблюдают. Он просто хотел домой. Поскорее открыть окна и вдохнуть воздух, в котором нет ничего, кроме пыли и шума города.



Марк сделал все, как советовал Димон.

Телефон отправился в коридор на тумбочку у самой двери, экраном вниз. Наушники полетели в мусорку. Беруши купить не успел, пришлось затыкать уши плотной ватой. Однако распахнул настежь, хотя на часах было одиннадцать вечера, а не привычные три. В комнату ворвался октябрьский холод, принес с собой запахи прелой листвы, дыма и той самой неуловимой ночной свежести. Все вокруг казалось живым. Марк жадно вдыхал этот воздух, чувствуя, как из комнаты медленно, как рассеивающийся туман, выветривается затхлый запах земли и сладости.

Он лег в темноту. Без экрана, без уведомлений, без фонового шума. С ватой в ушах наступила абсолютная пустота. В этой тишине наконец-то исчезли навязчивый щелчок, тяжелое дыхание и давящее чувство тревоги. Она обволокла его, как теплое одеяло. Марк провалился в сон мгновенно, без сновидений, глубоко, как в детстве.

В три часа ночи он не проснулся. Впервые за неделю.

Глаза открылись только в семь от настойчивого трезвона будильника, доносившегося из коридора. Мать уже колотила в дверь:

— Марк, вставай, проспишь все на свете!

Он поднялся. В комнате было светло. Утро врвалось в

жизнь, вытесняя остатки ночного покоя.

Марк прислушался. В ухе едва уловимо, словно эхо, отозвался тот самый щелчок. Он нервно кашлянул, щелкнул языком и отрезал в пустоту:

— Нет.

Ни к кому конкретному. Себе.

Щелчок затих. Не исчез совсем. А просто умолк, как радиоприемник, теряющий сигнал на границе зоны: короткий треск и тишина.



Прошла неделя. Две. Октябрь сменился ноябрем. Марк жил. Без телефона в комнате, без наушников, без фильтров. Ел, спал, чувствовал. Ходил в школу, тупил на физре, угорал с Димоном. Жил самой обычной, нормальной жизнью.

Мать увезла Леру в московскую клинику. Медики лишь разводили руками: «Кататония неясной этиологии». Девушка ни на что не откликалась: глаза оставались открытыми, но взгляд был пустым. На шее проступали четыре тонкие параллельные полосы, похожие на следы ногтей. Под кожей прощупывалось уплотнение, странно подергивавшееся во время УЗИ. Сердце билось всего тридцать два раза в минуту. Врачи так и не смогли выяснить, что это.

Олег вернулся через неделю. Сам. Мать просто открыла ему дверь, и он вошел. Тихий, бледный, в тех же очках, которые не менял целый год. Он сел за стол, механически закинул в себя еду, долго молчал, глядя в одну точку. Потом поднял глаза на мать и, нервно теребя край футболки, тихо произнес:

— Я был там. В углу. С ним. Оно не злое, мам. Оно просто... дико одинокое. Оно было всегда. Еще до нас, до этих панелек, до людей. Оно жило в темноте, в щелях, в углах. Ему просто хотелось, чтобы кто-то его увидел. Чтобы не быть одному.

Мать привела его на прием к психиатру. Олег сидел перед врачом, аккуратно положив руки на колени, и говорил спокойно, без выражения. Тот торопливо заполнял карту: «бред, галлюцинации, депрессивный эпизод», затем назначил таблетки. Олег принимал их, хранил молчание и не оглядывался. Просто жил.

Марк видел его в школе. Раз в неделю. Олег сидел на задней парте, поправлял очки и никогда, вообще никогда не косился в углы. Марк знал причину. Сам он тоже отводил взгляд. Не потому, что боялся. Просто понимал: Оно на месте. Оно прячется повсюду — по углам, в щелях, в промежутках тишины. Оно никуда не исчезло и не исчезнет. Оно ждет, не торопясь, как ждало еще до того, как появились люди и свет. Оно притаилось в стыках стен, там, где истончается ткань мира. Наблюдает. В его распоряжении целая вечность. А у тебя — всего пятнадцать лет и телефон, который ты предусмотрительно оставил в коридоре.

И это нормально. Жить с ним в одном мире. Главное, не смотреть. Не открывать дверь. Не наводить камеру в темный угол. Держать свет, держать шум, держать жизнь. Оно останется там, в тишине, будет ждать. Вечно терпеливое, вечно существующее.

Но если не смотреть, если не лезть туда, где темно, оно не придет. Не потому, что не может. Просто ему не надо. Оно приходит только тогда, когда ты сам его вылавливаешь взглядом. Когда хочешь увидеть.

А Марк больше не хотел.



Декабрь. Мороз кусает за щеки. Марк возвращался из школы пешком. Наушниками он больше не пользовался. Шел в тишине. И это была настоящая, честная тишина: гул города, шелест шин, далекий визг детей. Живая, осязаемая. В этой тишине не было лишних щелчков или чужого дыхания. Только он, снег и город.

Дома он толкнул дверь. Привычно положил в коридоре телефон экраном вниз. В комнате щелкнул выключателем. Врубил все лампы, монитор, телек. Запустил рок на полную. Гитары, барабаны, яростный крик вокалиста. От этого шума внутри наконец-то отпустило.

Он рухнул за стол, открыл учебник физики. Энтропия. Законы термодинамики. Марк вчитывался, пытаясь зацепиться за логику формул. Это было прекрасно. Мир понятный, углы — это просто углы, никакой мистики.

Но иногда...

В паузах между треками. В ту долю секунды, когда замолкает учитель. В коротком вдохе перед сном. Снова этот щелчок. Мелкий, едва уловимый, как шум крови в ушах. Глюк? Может быть.

По ночам, раз в неделю, а то и чаще, он просыпался в 3:03. Не от звука. От тишины. Слишком плотной, ватной. Будто мир выключили из розетки, и в этой пустоте кто-то дышал.

Не он. И не за окном. В углу.

Марк вскакивал, судорожно щелкая выключателем. Заливал комнату светом. Садился за ноут. Делал вид, что занят. Лишь бы не смотреть в темноту. В угол, где тумбочка, стопка книг, пыль.

Но свет не вечен. Утро — лишь временная передышка. А 3:03 приходят всегда.

С каждым разом вставать тяжелее. Тишина становится глубже, угол — чернее, а внутреннее «нет» — тише. Марк знал это, как знают о неизбежности зимы. Знал, что однажды просто не встанет. Не потому, что не сможет, а потому, что устал. 3:03 каждую ночь

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.